

ПО ПЯТНИЦАМ ТАНЦУЕМ



—
ВАЛЕРИЯ ФРОЛОВА
Студентка 4-го курса
Литературного института
(мастерская М.М. Попова).
Публиновалась в журнале
«Моснва».

Я хочу в открытое квадратом ровное поле. Хочу обнять его руками, увести в раз-два-три, шелкнуть пальцем по желтому носику каждого его цветка. Спрыгнуть в грязную траву, выбежав из-под неба. Я хочу поцеловать природу. Я хочу, чтобы она ответила на мой поцелуй и я задохнулась ветром – губы ветра сухие.

Но где-то появился только что муравей. И лишь лягу я на траву, он кинется на меня и закопает в земле. Я знаю, он закопает меня в земле, – так, что я не смогу встать. Он кинет крошку чернозема мне на круглую спину. Сам он кругленький тоже, хороший. Но он появился, и он закопает меня в земле.

Но неважно.

Пока он закапывает, я расскажу.

В марте я купила бусы. Март месяц дикий. Мама говорила, что в марте выползают медведи. Сосушие лапы медведи, выползающие из февраля в хищный воздух весны, снились мне каждую зиму, чем больше я о них думала. Кто их пригласил в наш мир? Те же серые люди, что пригласили меня, нас. Приходящие ночью серые люди. Медведи засыпают на зиму, чтобы их не видеть, и серые люди, теряя лица, становятся стенами берлог. А весна разрушает берлоги, разрушает зиму. И так каждый год, получается, каждый год.

Я жила с медведицей, которая не заснула. Она ходила важная, но шерсть ее поседела. Трудно быть

важной, когда ты старая и грустная. Всегда становишься немножечко смешной. Но ладно.

Бусы я купила в «Танцевальном кружке». Это такой центр арт-терапии у нас в районе, где рисуют, учатся лубку, лепят горшки или просто пластилином руки мажут. Вот открыли бисероплетение. Бесплатно можно прийти, если оставишь то, что сделал, и позволишь это выставить и продать. Мамина подруга там сплела бусы, не стала забирать, но сказала, что это мне точно. Я пришла, посмотрела. Я тогда в первый раз в «Танцевальный кружок» пришла. Ну, бусы как бусы, это все равно. Был понедельник. За стеклом на первом этаже танцевала моя мама. Серая-серая. Мне она очень понравилась. Я захотела себе такую ее.

Моя медведица в тот день варила щи. С нами обедал Андрей. Теперь он часто к нам заходил. Медведица шутила, что она по призванию одинока, и Андрею, одинокому по принуждению, полезно, конечно, стало у нее учиться. Я замечала, как прямо над тарелкой порой он закрывал глаза и задерживал дыхание. Так он пытался понять, как умерла его уставшая от кислорода жена. Я видела ее мертвое лицо. Я много видела уже таких лиц, пресытившихся, пьяных воздухом, синих и под масками. Мы все, кажется, стали носить такие лица.

Завтра я не пошла в школу, а пошла сразу туда. В «Кружке» было тихо и враждебно, слишком бело.

И я ничего не умела и не хотела. Я спросила, танцуют ли здесь, и мне сказали, что занятий таких нет, но что «Танцевальный кружок» – место терапевтическое, направленное на развитие всех свобод в человеке, развеивание всех тревог, поэтому здесь можно и танцевать, и плакать, и бить принесенное из дома, если потом уберешь. В общем, мне они ничем не помогли. Я не знала, что делать, и села перед бумагой с красками. Расплакалась акварелью, я ее слишком усердно разводила по листу водой, и лист порвался. Ничего художественнее этой бумажной дырки из меня не могло родиться. Я оставила ее на испачканном столе и ушла, когда не было и двух часов дня. Мне кажется, ее выкинули сразу после моего ухода. Я почти слышала, как замялась в комок бумага.

Медведица не заметила, что я рано вернулась, и волновалась дома о самолетах. В апреле мы должны были лететь к ее медведице-сестре в Сибирь, но теперь придется ехать трое суток поездом, потому что к самолетам доверия не осталось. И самолетов-то толком не осталось. Я спросила, что происходит в мире, и перестала слушать. Где-то сейчас танцевала мама, и мне хотелось только очень понять, когда существует это где-то.

Перед школой в среду мамина подруга привезла нам свою дочь, чтобы медведица с ней посидела. Мы вышли вдвоем, плыл только седьмой час утра. Я стрельнула у маминой подруги вишневую сигарету. Мне никогда не нравилась вишня, всегда как из витаминки «Алфавит». Мамина подруга загадочно пялилась:

– Видела?

– ...

– ...

– ...Ты знаешь, а во сколько она приходит?

– Ой, ну сколько жас? Часов шесть? Обычно она вот так и приходит.

– Так рано?

– Ну а когда ей еще? Надо коробки разобрать, пока разложит все со вчера. Покурит разок. Схочячит чего-то. А там и смена.

Мы смотрели обе на какую-то торговку у местного продуктового, у нее падали, не поднимаясь, жалюзи на входной двери. Я только теперь ее увидела.

– Я про маму.

– А-а...

И мы попрощались.

– Бусы-то забрала?

Это она крикнула уже и уехала. Она не видела. Ничего она не видела.

И я опять осталась одна. От серого неба болели и слезились глаза. Шурясь, я шла до школы, а в шко-

ле потом сказали нам больше не приходите. Дома будем учиться. В «Кружке» в эту среду окна по-другаки горели зеленым светом. Мама не придет сегодня: она не любит зеленый.

Дома я уснула. Кругом пахло абрикосовым чаем. Медведица не понимала, почему я дома, и чужая девочка лазила по диванам длинными антилопыми ногами. И мне снились сны.

Один сон кончался, и серые руки подхватывали меня, переносили в детскую кроватку, к другому сну, который кружился сначала пластмассовыми звездами и колокольчиками звенел, а потом утихал. В тишине мамы серые руки гладили меня по животу, я была толстая, маленькая, теплая, а руки мамы тонкие и холодные, потому что она прибежала с мороза, от которого успела отвыкнуть и в котором все мы жили тут. Мама меня любила. Мама меня звала. И сон кончался, звенел другой, плескалась речка и брызгало небо, все зеленело до тошноты, кругом оказывались другие, был какой-то июнь какого-то лета, что-то упало на меня, может, дерево или небо, и я проснулась. Чужая девочка свалилась со спинки дивана, смеялась кашлем. Я заставила ее есть помаду, пока медведица не видела. Я сказала, это полезно, так учат в школе тех, кто в старших классах. И мы промыли ей рот, чтобы не осталось красного, только зубы желтели еще розовым.

Вечером мамина подруга ее забрала. Я ненавидела их семью. И ее мама была плохой мамой.

Мы с медведицей сегодня долго сидели на кухне, пили чай. Мы редко были вдвоем. Мы синхронно вздыхали в минуты тишины, и это пугало. Мы были похожи. А мама с фотографий улыбалась непохоже на нас, мы не умели так улыбаться. Мы улыбались, чтобы заткнуть несчастье. Мама улыбалась счастливо. Мама улыбалась молодо. Она была моложе нас, моложе меня. С рождения моложе меня.

В четверг я унесла ноутбук и ушла в «Кружок». Шоркающий голос, почти незнакомый, искаженный помехами и срывающийся в синтетический визг, диктовал что-то из пройденного, и под него я слепила кривую пепельницу, два кольца и тарелку с трещиной. Тарелку я потом спрятала под куртку, чтобы унести и подарить медведице. Если бы я знала, что моя медведица курит, я бы пепельницу спрятала, но я не знала, она мне не сказала. Я только видела фотографию, где она выдыхает, а за дымом стоит черное существо. Может, это мой медведь. Может, она выдумала свое одиночество. А может, правда, у нее не было никого, кроме меня и мамы. И кроме меня одной.

Пепельница была косой. Я раскрасила ее в зеленый, потому что не хотела, чтобы мама курила. Она бы никогда ее такой не взяла, даже если бы пришла сюда снова.

Два кольца – это как два обручальных кольца, которые медведица хранила в платяном темном шкафу в порванном капроновом чулке. Я представляла, как она отбирала эти кольца у мамы, у него, чтобы хранилось лучше, чтобы не потерялось. Но я не могла представить. Я думаю, она просто купила похожие. Никто не отдал бы ей эти кольца, их скорее выкинули бы, закопали в земле. Носили бы дальше. А медведица всех раздражала своей старостью, и своей суеверностью, и своей тягой к накопительству, и своей любовью к золоту. Мои кольца вышли похожими, но как если бы их кольца были из печеня, и если бы вместо алмазов в их кольцах был бы изюм. И если бы руки их были гигантские, толстые.

А тарелка была с трещиной, и я сделала ее желтой, поджаренной, как будто хлебная лепешка треснула и распеклась мучным запахом. И я унесла ее медведице. И ей понравился запах глины. И мамы сегодня нигде не было, один Андрей и мамина подруга под столом нашим переплетались по-детски ногами, а медведица вылавливала дочке маминой подруги побольше фрикаделек и поменьше лука в тарелку. Девочка не любила лук. Вчера Андрей забрал белье из больницы, где умерла его жена. Потеряли, забыли отдать. Нашли, позвонили. Он принес медведице, попросил выстирать и пусть я ношу, и на батарее у нас ради приличия сушились мамины синие стринги. Никто их никогда не наденет.

Я что-то слышала. Мы ехали в темноте с Андреем, по радио болтали, плодородная земля, карты, выпущенные российскими банками, провокация, переночуешь сегодня у меня.

– Слышишь?

Я что-то слышала.

Комната была как в детстве. Кровать маленькая, торчат ноги и упираются в шкаф, шкаф покрыт лаком. Медведица сегодня кого-то поминала. Одна, устала со мной. Но всю ночь не поминают. Она выпьет, не опьянеет, выпьет, а такой перед внучкой нельзя, неприлично. И надо нам уехать, поставить прививки, видела, что с мамой, надо нам не выходить, вот куда поступать собралась, что, уедешь, бросишь семью, мы тебе денег посылать не будем, видела, как мама, все сама, а, филолог – назвали красиво, учительницей, что ли, книжки читать будешь, в школе мало получают, что эти буковки, надо физику знать, физика всему голова. Андрей-Андрей, покивала головой и уснула. Во сне руки болели, как растянутые.

Утром звонила медведица, девочку оставили, приходи попозже, мы пока играем, обед варим. Из ванной мамина подруга выходит, прощается, Андрей, пока, привет, чего не в школе, а, ну пока. Едем вдвоем в лифте. Я прошу вишневую сигарету. Она прикуривает у подъезда и садится в машину, похожую на холодильник для трупов, и уезжает. Я украла у нее зажигалку.

Я иду, и я уже знаю: моя медведица не моя – и я ее отпускаю. Я никогда не варю с ней обед. Я знаю: Андрей никогда не был моим, моими были только розовые обои в комнате в их квартире, я сама выбрала розовые обои. И когда-то, когда я открывала по утрам глаза, передо мной была розовая, покрытая солнцем стена, моя розовая стена.

В «Кружке» тихо, я привыкла, здесь тихо всегда. Я запрусь в туалете и на полу покрывалом постелю свою куртку. И, больше ничего не снимая, я стану жечь себе пальцы, жечь себе вещи, жечь себе губы. Я услышу, кто-то кричит. Крик превратится в сирену, сирена – в музыку, под нее захочется двигать руками, и комната посереет, чтобы мама пришла. Она будет танцевать, серая-серая, возьмет мои руки в свои, и мы будем гладить дымный воздух вокруг, пока она не попросит меня повернуться набок, пока она не сведет мне ноги, согнув в коленках, пока она не вернет мою ладонь моей ладони и не заведет мои кисти мне под голову, и пока она не скажет мне, она говорит мне – спи.

Я рождаюсь криком в траве. Меня купает солнце. Я еще слышу, как она шепчет, она целует меня сухими губами и шепчет, как это правильно, как естественно – родиться в поле и умереть на земле. И чтобы трава сама расплела материнскую косу и волосами от крови обтерла.

Я только думаю: пусть муравей, когда все оставят меня, очень быстро закопает очень маленькое тело в земле. И я вздохом засну. И сразу за весной будет начинаться осень.

